

В. В. Дементьев
Саратов, Россия

V. V. Dementyev
Saratov, Russia

РУССКИЙ НОВОЯЗ
В СВЕТЕ ТЕОРИИ
КОММУНИКАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
(на материале политической речи)

RUSSIAN NEWSPEAK
IN THE LIGHT OF THE THEORY
OF COMMUNICATIVE VALUES
(on the basis of the political speech)

ГСНТИ 16.21.27; 16.21.61

Код БАН 10.02.19

Аннотация. В статье рассматривается русский новояз (канцелярит) в политической речи, в которой отражается современное состояние системы русских коммуникативных ценностей, прежде всего – оппозиции персональности ~ имперсональности. История русской политической речи с конца 1980-х гг. осмысливается через динамику канцелярита, то есть гипертрофированного использования официально-делового дискурса и стоящей за ним официально-деловой картины мира для достижения целей, соотносимых с политической коммуникацией.

Abstract. The article discusses Russian Newspeak (kantselyarit) in political speech, which reflects the current state of Russian communicative values, above all – the personality ~ impersonality opposition. The history of Russian political speech since the end of 1980s has been conceptualized through the dynamics of kantselyarit, i. e. exaggerated use of official-business discourse and official business picture of the world, to achieve the goals related to political communication.

Ключевые слова: коммуникативная ценность; политическая речь; персональность; новояз (канцелярит).

Key words: communicative value; political speech; personality; Newspeak (kantselyarit).

Сведения об авторе: Дементьев Вадим Викторович, доктор филологических наук, профессор кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики.

About the author: Dementyev Vadim Viktorovich, Doctor of Philology, Professor of the Chair of Language Theory and History, and Applied Linguistics.

Место работы: Саратовский государственный университет.

Place of employment: Saratov State University.

Контактная информация: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83.
e-mail: dementevvv@yandex.ru.

1. Персональность в русском языке и культуре.

Оценочная шкала/оппозиция [P] ~ [-P]

В центре нашего внимания находится русская коммуникативная категория **персональности**, неразрывно связанная значимыми отношениями со своей противоположностью – имперсональностью / безличностью / официальностью [Дементьев 2007]. Именно персональность определяет контуры «хорошей» русской коммуникации, шире – взгляда на мир, населенный, созданный или тождественный «своим», как и на мир «чужих».

Оппозиция персональности ~ имперсональности (или ее близкие аналоги: оппозиции неофициальности ~ официальности, персональности ~ институциональности/ритуальности, личностности ~ безличности, «частной жизни» ~ «общественной жизни») определяет многие языковые и коммуникативно-речевые явления – в лексике, идиоматике, грамматике русского языка, вербальной и невербальной коммуникации, фатической коммуникации и ее жанрах, речевом этикете, коммуникативные составляющие ряда ключевых концептов русской культуры (*дружба, правда, душа* и др.); данная оппозиция охватывает практически все сферы современной русской речи: массмедиа, политическую коммуникацию, жаргонно-общественное общение, смеховую коммуникацию, а также русскую художественную литературу.

В русской коммуникации выделяются неко-

торые особые сферы и жанры, принципиально противопоставленные идеологической окраске общего коммуникативного пространства. Главная из таких сфер – сфера личностно нейтральной, прежде всего официальной, коммуникации. Связанные с этой сферой типичные коммуникативные ситуации, речевые и языковые средства (включая конкретные лексемы) являются маркированными в русской коммуникации, они принципиально противопоставлены «обыкновенным словам», причем это именно такое противопоставление, какое в целом свойственно русской традиционной культуре, то есть *нравственное* и *полярное* [Иванов, Топоров 1965; Воркачев 2003; Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005; Шалина 2010].

Персональность существует в русской коммуникации, речи и языке в виде глобальной оценочной шкалы (как редуцированный вариант – оппозиции), охватывающей собой, подвергающей соответствующему типу оценки многие явления русской коммуникации, речи, языка. Данная шкала/оппозиция в общих чертах может быть охарактеризована как противопоставление (в восприятии мира, человеческих взаимоотношениях, коммуникации, языке) начала в целом персонального, личностного и межличностного – и начала социального, неличностного (официального, ритуального).

Левый член оппозиции оценивается через призму русской «межличностной» системы цен-

ностей (это прежде всего нравственная оценка). Здесь присутствует идея огромности мира, не поддающегося рациональному упорядочению, воспринимаемого интуитивно, через призму сильных, неконтролируемых и иррациональных эмоций, мечты и бесконечно многообразных человеческих отношений, где единственным безусловным ориентиром является нравственный. Правый член оппозиции принадлежит внеличностной сфере жизни и взаимоотношений людей, где человек воспринимается как абстрактный носитель социальной функции. На первый план выходит идея социального института, ограничений, нечто рационально-логическое, нацеленное на статусное взаимодействие с людьми. На правый член оппозиции не распространяется нравственно-личностная оценка, и в то же время в русском речевом сознании данное явление оценивается отрицательно за сам факт отказа от нравственной оценки, выбор в пользу неличностного типа отношений, то есть, с точки зрения русской картины мира, как бы сознательное уклонение от естественных человеческих обязанностей и законов.

Если условно назвать коннотативный компонент, содержащийся в левом члене оппозиции, P (personal), то наличие P (обозначим его как [P]) представляет собой норму и нейтрально с точки зрения оценки, а отсутствие P (обозначим его как [-P]) оценивается отрицательно.

Наиболее явно действие названной оппозиции проявляется в организации русской **лексики**. Ср. лексические пары в современном русском языке: *мастер ~ профессионал; очень плохо ~ крайне неудовлетворительно; убийца ~ киллер; совесть ~ нравственность, этика; родной ~ казенный; начальник ~ руководитель; интеллигент ~ интеллектуал; жалеть ~ сочувствовать, соболезновать; справедливый ~ законный, легитимный, правовой; муж ~ супруг; любимый ~ сожитель; везение ~ успешность; вожак ~ лидер; любить, жалеть ~ уважать; злиться ~ негодовать; работа ~ деятельность; душевный ~ бездушный...* При всем разнообразии и разнородности, как нам кажется, есть некоторая тенденция к тому, что лексемы, представляющие правый член оппозиции, в целом гораздо уже, беднее по значению и сферам употребления, гораздо меньше способны к экспрессии, меньше способны к словообразованию и почти не образуют глагольные производные, резко ограничена их дистрибуция, особенно с глаголами; что правый член в какой-то степени тяготеет к официально-деловому стилю; что левый член несколько чаще представлен исконным словом, правый – заимствованным; что правый член чаще имеет отрицательную оценку, левый – нейтральную или положительную, однако данная тенденция почти никогда не прослеживается до конца.

В оппозицию [P] ~ [-P] вступают не только лексемы, но и другие единицы русского языка и

речи, в частности **речевые жанры**. Важной для русского языка и речи является речежанровая оппозиция *разговора по душам и светской беседе*. Члены данной оппозиции – антонимичные в русской речевой культуре жанры, – представляя разные нормы выражено гармонического общения (даже разные коммуникативные идеалы), задают совершенно разные коммуникативные ориентации, взгляд на мир через призму противоположных оценочных «речежанровых картин мира» [Дементьев 2010: 305–398].

В русской культуре подлечит оценке сам факт выбора человеком неличностного способа взаимодействия с миром и себе подобными. Собственно, в русской культуре выбор в пользу такого типа отношений часто воспринимается как отказ быть человеком. Можно привести множество примеров слов, где нравственно-этическая оценка совмещается с оппозицией [P] ~ [-P]: *функционер, чинуша, службист, крючок и крюкотвор, казенный и казёщица, муштра, аппаратчик, карьерист, казёбшник* (одни из них имеют более или менее точные соответствия в других языках, другие – нет). Ключевыми для русской культуры являются слова, в которых так же однозначно положительно оценивается выбор в пользу левого члена [P] ~ [-P]: *душевный (задушевный), друг*. Показательно очень точное отражение семантики оппозиции [P] ~ [-P] во фразеологизме *не в службу, а в дружбу*. Оппозиция *душевный ~ бездушный*, образованная двумя словообразовательными производными от *души*, может служить примером лексико-грамматической формализации оппозиции [P] ~ [-P].

Выделяемая нами русская культурная оппозиция [P] ~ [-P] имеет общее с описываемой А. Б. Пеньковским категорией *чуждости*, происходящей из семиотического принципа оппозитивного членения мира на «свой» и «чужой» [Пеньковский 1989]. Однако в отличие от названной работы, мы говорим о русской безэквивалентной, неуниверсальной для большинства культур оценочности.

Конечно, противопоставление официально ~ неофициальности есть практически во всех культурах, где выделяется институт власти и ее представителей, и везде приходится говорить о неизбежных противоречиях (более или менее драматичными противоречиями между «членами» данной оппозиции в значительной степени определяется благополучность или неблагополучность конкретного социума).

Подобный тип противопоставления «народ ~ власть», имеющий лингвистическую манифестацию, существовал, например, в чешской культуре; ср.: «...литературный язык ... стремится к тому, чтобы отличаться от народного языка, от повседневной речи ... в результате стремления к классовой исключительности, поскольку в литературном языке проявляются классовые признаки (ср., например, оне-

мечивание господствующих слоев в старое время у нас, употребление до настоящего времени венгерского языка в словацких городах и в свою очередь словацкого языка в восточной Словакии у украинцев и т. д.)» [Гавранек 1967: 341].

Универсальная оппозиция официальности ~ неофициальности, которая, по всей видимости, изначально выступала как оппозиция культурно-политическая, в истории русской культуры переосмысливается как скорее социально-психологическая и коммуникативная; при этом наиболее значимым становится такой аспект данной оппозиции, как противопоставление **официальности и персональности**.

Сам по себе данный коммуникативный аспект также является универсальным: во всех культурах оппозиция официальности ~ неофициальности шире, чем только коммуникативная, но именно с выделения особой сферы *общения* власти и народа, которое должно было отличаться от «обыкновенного» общения людей, власть начинает осознавать и себя, и свое выделение, как и народ начинает осознавать ее; соответственно, становится востребованной и особая нормативность, и особые символические системы.

Кроме того, по-видимому, во всех культурах с развитием оппозиции официальности ~ неофициальности и собственно члена официальности в ее составе уже не официальна: она *активно* стремилась противопоставить себя официальной идеологии и языку, используя для этой цели самые разные средства (начиная от средневекового карнавала [Бахтин 1990] и заканчивая «антитоталитарными языками», развившимися в странах соцлагеря в XX веке [Вежбицкая 1993]).

В то же время существует целый ряд чрезвычайно важных аспектов русской оценочной оппозиции [P] ~ [-P], сообщающих ей неуниверсальный характер. Рассмотрим их подробнее.

1). Неуниверсальность оппозиции [P] ~ [-P] проявляется в неуниверсальности ключевых концептов русской культуры *правда, душа, общение, искренность* и др. Еще важнее то, что данные концепты входят в значимые для русской языковой картины мира оппозиции, которые в других языках или отсутствуют, или проявляются в них совершенно по-другому, такие как *правда ~ истина, воля ~ свобода, простор ~ пространство, радость ~ удовольствие* [Арутюнова 1999; Вежбицка 1996; Пеньковский 1991; Степанов 1997; Шатуновский 1991; Шмелев 2002].

Естественно, все эти концепты сами по себе так сложны, многомерны и многообразны, что, думается, была бы ошибочной любая попытка привести их к одному знаменателю, например свести их к одному пространственному измерению, как это делает Н. Д. Арутюнова и ее последователи: «Концепт “воли” хорошо со-

гласуется с пространственной (бытийной) ориентацией русского языка, а также с понятием стихии и стихийных действий. *Простор – воля – стихия* образуют единый комплекс» [Арутюнова 1999: 813], – вплоть до выявления клаустрофобии в качестве черты русского национального характера [Шмелев 2002: 78]. Трудно согласиться и с гедонистическим объяснением значений ключевых слов русской культуры («*Простор* – это когда легко дышится, ничто не давит, не стесняет, когда можно пойти куда угодно, когда *есть разгуляться где на воле*» [Шмелев 2002: 75]): потребительски-гедонистическое отношение в корне противоречит очень важной для этих слов нравственной оценке. Счастье, радость, восторг, восхищение (в том числе восхищение широкими *просторами*) действительно присутствуют в их семантике, но эти состояния *души* могут быть настоящими только в результате правильного нравственного выбора, когда к ним приходят ценой *жизни по правде*, соответствующей изначально высокому, праведному, а вовсе не потребительскому предназначению человека (такова, по крайней мере, семантика этих слов). Не отрицая важности данного «пространственного» содержательного компонента для целого ряда безэквивалентных лексем русского языка (*даль, ширь, раздолье, приволье*), мы считаем идею Н. Д. Арутюновой и А. Д. Шмелева не вполне верной. Так, например, утверждение, что для понимания такого русского ключевого концепта, как *гулять на воле*, необходима идея отсутствия пространственных ограничений, конечно, представляется справедливым – но гораздо важнее идея внутренней свободы, *воли*, отсутствия психологического подчинения ограничениям, накладываемым не столько физически малым, тесным пространством, сколько социальным институтом, имеющим власть.

В то же время в исследованиях, посвященных данным безэквивалентным концептам, часто отмечается, что наиболее противоречит отраженным в них ключевым ценностям русского национального характера идея неких «рациональных» ограничений, некой системы координат, а значит и социальных институтов. Концепт, включающий идею таких ограничений, встает с концептом типа *правда, воля* в оппозицию, очень близкую оппозиции [P] ~ [-P]. Так, по мнению А. Д. Шмелева, «Разные значения глагола *гулять* объединяются идеей свободы выбора, отсутствия стеснений и необходимости выполнять скучную, рутинную работу» [Шмелев 2002: 85]. Исследователь также обращает внимание на «различие между *пространством* как само собою разумеющейся системой координат и *простором* как источником радости» [Там же: 75]. В этом отношении показательно исследование Н. М. Катаевой [Катаева 2004], посвященное паре концептов «воля» и «свобода» в русском языке: по мнению исследовательницы, «для русских воля – это абсолют свободы, ос-

нованный исключительно на желании, хотении человека, свобода же подразумевает особость, отдельность, обособленность, независимость личности в обществе, какой-либо общности при полном признании законов жизнедеятельности этого общества (общности)» [Катаева 2004: 4]. Практически ту же идею высказывает А. Д. Шмелев, несмотря на то, что объясняет значение слова *воля* опять-таки с пространственной точки зрения: «По сравнению с *волей свобода* в собственном смысле слова оказывается чем-то ограниченным, она не может быть в той же степени желанна для “русской души”, сформировавшейся под влиянием широких пространств» [Шмелев 2002: 73]. Подобным образом определяется русская *жалость* (по сравнению с *сочувствием* и *состраданием*): «*Жалость* – ... это очень стихийное чувство, мгновенная реакция души на чужое страдание. Возникновение этого чувства человек почти не способен контролировать. *Жалость* может *охватить, захлестнуть, сжать сердце* и т. п. [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 271], при этом «лингвистическая степень осознанности и контролируемости чувства проявляется, в частности, в сочетании его имени с причинными предложениями. Слово *жалость*, в отличие от близких по значению слов *сочувствие* и *сострадание*, обозначающих менее стихийные эмоции, сочетается не только с предлогом *из*, но и с предлогом *от*» [Там же].

Это содержательное противопоставление имеет такое большое значение для русской культуры, что через его призму переосмысляются даже явления, организованные оппозитивно в общеевропейской (общехристианской) культуре. Так, авторы коллективной монографии «Ключевые идеи русской языковой картины мира» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005] показывают, что общехристианская оппозиция «милосердие ~ законность» дополняется в русской культуре новым членом *справедливость*, причем это особая «личностная» справедливость (о *несправедливости* часто говорят не в смысле банального неправильного распределения благ, а в смысле недополучения человеком тепла, внимания, любви): «Особенность русского взгляда на вещи, отраженного в русском языке, состоит в том, что наряду с законом и милосердием в нем представлена *справедливость*, которая гораздо важнее закона, но мелочь по сравнению с подлинными духовными ценностями. Однако соединяясь с чувством и душевной болью, *справедливость* повышается в статусе и попадает в один ряд с *милосердием / правдой*: *А душа, уж это точно, ежели обожжена, Справедливей, милосерднее и праведней она* (Булат Окуджава)» [Там же: 373].

2). Очень важным источником национальной специфики оппозиции [P] ~ [-P], как и главным ее содержанием, является уже упоминавшаяся система русских нравственных оценок, не имеющая аналогов в других языках.

Отмечалось, что исторической основой «практической нравственности» русского человека было православие с его бескомпромиссной позицией в отношении духовной жизни, поляризацией добра и зла и отсутствием «срединности», «нравственных пустот», направленностью на внутреннее самосовершенствование как основание идеи бессмертия души и вечной жизни. Религия стала «детерминирующим началом для менталитета» [Емельянов 2003: 52], определяя стремление русского человека верить свои поступки в соответствии с нравственным законом, его внешность голосу совести и нравственному долгу. Этот закон оставался главенствующим и в общественно-экономической деятельности, что обозначило ее подчиненное место в ценностной системе русских [Громыко 2000; Кузьменкова 2005; Шалина 2010].

В работах А. Хомякова, Вл. Соловьева, Н. Бердяева отмечалось, что исторически сложившимися характеристиками русского этноса являются отрицание прагматической предприимчивости, расчета, коммерческой хватки, враждебное отношение к практицизму и позитивизму. Например: «Жизнь по сердцу создает открытость души русского человека и легкость общения с людьми, простоту общения, без условности, без внешней привитой вежливости» [Лосский 1991: 292]. Ср. рассуждения Н. А. Бердяева о русской ментальности и общении: «Всякий истинно русский человек интересуется вопросом о смысле жизни и ищет общения с другими в искании смысла, ... умудряется даже самым практическим общественным интересам придавать философский характер» [Бердяев 1998: 176].

Языковое выражение «русской этики», то есть морально-ценностных категорий в структуре общей языковой оценочной картины мира, неоднократно становилось объектом внимания лингвистов [Апресян 1995; Арутюнова 1999; Воробьев 1997; Зализняк, Шмелев, Левонтина 2005; Логический анализ языка 2000; Маслова 2001; Степанов 1997; Уфимцева 1998]. Ср. составленный Н. В. Орловой «этический словарь» из лексем современного русского языка, содержащих этическую оценку (объектом положительной/отрицательной этической оценки может выступать сам человек или другие люди, их личностные качества, отношение к дружбе, Богу, труду, делу, материальным благам, трудностям, правде и свободе, сексу; умение/неумение быть искренним, естественным; наличие/отсутствие стыда, совести, внутреннего содержания, духовного начала, убеждений и др.): *скупец, наглый, издеваться, кровопийца, подруга, хвостун, возгордиться, богохульник, паясничать, подлиза, шлюха, терпеливый, трудяга, халтурить, жульничать, покладистый, процельга* и др. [Орлова 2006: 259–260].

3). Неуниверсальность оппозиции [P] ~ [-P] проявляется в неуниверсальности самой идеи

оппозитивности и полярного оценочного противопоставления, присущей русской (исконно – православной) культуре, в отличие от западных (исконно католических и протестантских) [Лотман, Успенский 1994; Вежицкая 2002; Bergmann 1998]. Это обуславливает особую жесткость противопоставления официально-делового стиля всем остальным стилям, а также жесткость противопоставления «персональный дискурс ~ институциональный/ритуальный дискурс».

По мнению В. А. Плунгяна и Е. В. Рахилиной, «центробежность» обуславливает такие качества русского национального характера, как *щедрость* и *расхлябанность*, *хлебосольство* и *удаль*, *свинство* и *задушевность* – эти обозначения качеств (в отличие, напр., от слова *аккуратность*) в языке легко сочетаются с эпитетом *русский* [Плунгян, Рахилина 1996: 340–351].

4). Наконец, неуниверсальность оппозиции [P] ~ [-P] проявляется в неуниверсальности противопоставления «народ ~ власть» в русской истории и культуре.

В самом общем виде неуниверсальные особенности оппозиции «народ ~ власть» можно свести к следующим:

- власть – изначально нерусская, «немецкая» («с Рюрика»). Начиная с Петра I власть в России стремилась четко противопоставить себя простолюдинам всеми способами, в том числе языковыми; немаловажно, что сам литературный кодифицированный язык (язык публичного и персонального неличностного общения) был французский. Отсюда в России несправедливая власть ассоциируется с чем-то инородным, враждебным, «немецким» (педантичным, бездушным);

- долгий период крепостного права: «Россия – тюрьма народов». О жестоких и несправедливых отношениях власти и народа можно судить по многочисленным известным случаям, когда честные люди оказывались несовместимы с институтами власти и либо изгонялись, либо уходили сами (ср. реальную биографию А. Н. Радищева, вымышленную биографию Чацкого в «Горе от ума»);

- (отсюда) ставшее очень широко распространенным и даже традиционным недоверие к власти, нелюбовь к ней: от власти не ждут справедливости – тем более *правды*, *милосердия* и т. д.;

- (отсюда) русский иррациональный, нерассуждающий страх перед «властью вообще» и ее отдельными представителями, особенно пагубный в психологическом плане, калечащий душу человека (данный аспект широко отражен в художественной литературе, особенно сатире, начиная с Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. П. Чехова);

- часто отмечается, что данное качество сочетается с нежеланием и неспособностью широких народных масс к самоорганизации, к то-

му, чтобы естественным образом породить власть «снизу» и участвовать в ней. Ср.: «Веками у русских не развивалось правосознание, столь свойственное западному человеку. К законам было всегда отношение недоверчивое, ироническое: де разве возможно установить заранее закон, предусматривающий все частные случаи? ведь они все непохожи друг на друга. <...> Сюда примыкает и вековое отчуждение нашего народа от политики и от общественной деятельности. Как отметил Чаадаев, по русским летописям прослеживается “глубокое воздействие власти... и почти никогда не встретишь проявлений общественной воли”. <...> Тем более <русский дух> не стремился к власти: русский человек сторонился власти и презирал её как источник неизбежной нечистоты, соблазнов и грехов. В противоречие тому – жаждал сильных и праведных действий правителя, ждал чуда. <...> Отсюда проистекла наша нынешняя губительно малая способность к объединению сил, к самоорганизации, что более всего вредит нам сегодня» (А. Солженицын. Россия в обвале);

- наконец (возможно, понимая глубокую болезненность, «ненормальность» таких отношений власти и народа), именно в России неоднократно пытались «примирить» члены данной оппозиции – именно так возникли, например, *светская беседа* и – позже – *канцелярит*, *партийная речь*» (ср. использование родственно-задушевых характеристик по отношению к Сталину в советской прессе 1930-х гг: *родной*, *любимый*, *отец* [Романенко 2000]) и т. д. Вполне естественно, что попытки эти никогда не были успешными не только в «правовом», нравственном или логическом смысле, но и в собственно коммуникативном, «формально-коммуникативном»: в результате оппозиция *народа* и *власти*, как и реализующая ее в общенациональном языке и отдельных его стратах (особенно нелитературных) коммуникативная оппозиция *персональности* и *официальности* не перестала существовать, даже не перестала быть полярной. Отметим, что и *светская беседа*, и *канцелярит* (и в наши дни *гламур*) очень быстро включились в культурном и языковом отношении в «правый член» данной оппозиции.

Неуниверсальность оппозиции [P] ~ [-P] обусловлена спецификой русской (в том числе новейшей) истории. Разные эпохи наполняют данную оппозицию разным идеологическим содержанием.

В периоды всевластия бюрократии (петровская и особенно николаевская эпоха с возвышением Петербурга; советская эпоха с ее атеизмом и интернационализмом) данная оппозиция проявлялась особенно явно. Эти эпохи, как известно, принесли небывалый официоз и казенщину и вызвали к себе в широких народных массах, с одной стороны, стойкое неприятие, с другой – множество карнавальных текстов, паремий, номинаций. Ср. отражение данной оцен-

ки в русской классике XIX века: «Медный всадник» Пушкина, «Дума» Лермонтова, «Ревизор» Гоголя, «Былое и думы» Герцена. Ср. также фольклорные тексты петровской эпохи о строящемся Петербурге, представляющие собой как бы народный отклик на официальную пропаганду: *С одной стороны море, с другой – горе, с третьей – мох, а с четвертой – ох; Попал бы ты в Питер, он бы тебе бока вытер; Питер – кому город, а кому ворог.*

Следует подчеркнуть, что *власть* – наиболее характерная, но далеко не единственная реализация идеи социального института, стоящей за содержанием правого члена оппозиции [P] ~ [-P]. В этом отношении показательны лексические репрезентации правого члена оппозиции [P] ~ [-P], противопоставленные соответствующим антонимичным лексемам, появившиеся в новейший период (или в новейший период развившие данное значение правого члена оппозиции [P] ~ [-P]), такие как *электорат* (ср. *народ*), *киллер* (ср. *наемный убийца*), *бойфренд* (ср. *мой парень*) или *группировка* (ср. *шайка, банда*). Хотя сема правого члена оппозиции [P] ~ [-P], то есть идея социального института, присуща всем им, далеко не во всех эта идея представлена именно как *власть*.

Содержательная узость, присущая правому члену оппозиции [P] ~ [-P], бывает востребована не только властью, стремящейся упорядочить социальные отношения, – она может быть вполне желанна самым широким народным массам. Как справедливо отмечает Л. П. Крысин [2003], многие заимствования закрепляются как «более престижные» слова: так, *бутик, шоп* в современном русском языке обозначают не любой магазин, а только модный, *презентация* – не любое, а только торжественное представление (отметим, что само слово *престиж* вступает в оппозицию [P] ~ [-P] с общеупотребительными *слава* или *известность*). По мнению Н. С. Валгиной, стремление к модному, более современному слову – одна из причин заимствования. «На общем фоне широкого заимствования «заморское слово» оказывается престижным, звучащим по-ученому и, следовательно, интеллектуально и красиво» [Валгина 2001: 112]. Конечно, как было показано, представление о престижности, якобы связанной с правым членом оппозиции [P] ~ [-P], могло иметь неестественный, даже уродливый характер.

Ср. исследование Казимежа Люциньского [2010], в котором анализируются новейшие английские заимствования посткоммунистической эпохи. Автор дает когнитивный комментарий к некоторым словам (с точки зрения ряда популярных, влиятельных, модных тенденций, таких как последствия глобализации, формирование новой «культуры потребления» и «культуры глянцевого журналов», «клиповое восприятие реальности», новые гендерные тенденции в молодежной культуре, наконец, формирование

«телесного императива»), выявляя новые значимые идеи, стоящие за теми или иными заимствованиями и их отношениями с уже существующими синонимами.

Главная из таких идей состоит в том, что новая, «рыночная» идеология, характерная для капиталистического общества, пришедшего на смену коммунистическому, порождает иной взгляд на мир и соответственно иные дискурсивные практики, метафоры. При этом данная идея вполне естественно переносится с собственно потребления, «шопинга» на гляцевые журналы, рекламу и политическую коммуникацию, порождая соответствующие метафоры. Вывод, который делает автор, состоит в том, что нынешняя культура – это *шопинг-культура*, которая и формирует «the metaphors we live by»: человек – артефакт, тело – неодушевленный объект, лицо – маска, мир – супермаркет, политика – это маркетинг [Люциньский 2010: 46–74].

Думается, данная «рыночная» идеология действительно включает важную идею социально-ролевого регулирования (покупатель – продавец/работодатель) и, как любая социальная роль, включает определенную личностную параметризацию, ограничивает число аспектов «Я». Поэтому в русской культуре данная идея, а особенно ее социально-коммуникативное преломление – рациональных взаимовыгодных отношений с тщательной выстроенностью «рекламной» самопрезентации, – в сознании многих людей была вполне естественно объединена с идеей правого члена оппозиции [P] ~ [-P].

Исторические изменения оппозиции [P] ~ [-P] могут иметь значительно более глубокий характер. Может существенно меняться сам характер отношений между членами оппозиции. В некоторые периоды наблюдается неестественное расширение сферы употребления одного из членов за счет другого.

2. Оппозиция [P] ~ [-P] и русский новояз («канцелярит»)

В целом появление в языке лексем (и других единиц, таких, например, как речевые жанры), представляющих правый член оппозиции, – естественный процесс для развития кодифицированного литературного языка и особенно его официально-делового стиля, когда возникает необходимость включить некоторое явление или человека в сферу официальных отношений и социальной регламентации (например, лексическая оппозиция *народ* ~ *электорат*).

Данный процесс для различных литературных языков детально изучен в функциональной стилистике – ср., например: [Булаховский 1975; Винокур 1929; Кожина 1993]. Процесс этот универсален, как универсальны выделяемые во всех литературных языках пять функциональных стилей. Бессмысленно подвергать этической оценке чиновника на том основании, что

он выполняет свои обязанности без души, или документ, написанный неискренне.

Гипертрофированное развитие правого члена оппозиции [P] ~ [-P] с центральным содержанием коммуникативной *персональности* приводит к таким явлениям, как лексико-семантическая «бедность» и «узость», стилистическая «сухость», общее увеличение удельного веса и роли официально-делового стиля в различных сферах коммуникации. В крайних своих проявлениях данный процесс может приобретать глобальные масштабы и даже приводить к созданию фактически нового языка, как, собственно, и произошло в фантастической реальности, описанной Дж. Оруэллом («новояз») и, увы, в реальной русской истории XX века («канцелярит»). Новояз есть максимально редуцированный язык, с удобной для власти точностью совпадающий с рамками официальной идеологии: социальных ролей, регламентированных отношений, предписанных оценок. Сам факт, что «новояз» был выделен и описан (пусть как фантастическое явление) английским автором и на базе английского языка, доказывает его универсальное содержание и истоки. В то же время русский вариант новояза знал немало неуниверсальных черт – отчасти это были уже названные черты оппозиции [P] ~ [-P], отчасти к ним добавились новые, обусловленные как особенностями русской истории и культуры, так и собственно лингвистическими особенностями русского языка.

Гипертрофированная роль правого члена в русской культуре XX века породила *канцелярит* – явление, впервые описанное К. И. Чуковским [1990]. Как известно, Чуковский понимал канцелярит как неоправданное использование канцелярского языка за пределами сферы официально-деловых отношений в русском языке середины XX в., повлекшее за собой невиданное ранее оскудение образности и выразительности языка.

Начиная с К. И. Чуковского, канцелярит изучают как аспект культуры речи – как использование языковых средств делового стиля в неподходящих для этого условиях общения. В современных исследованиях канцелярит изучают преимущественно в историко-культурном плане: проводится параллель между распространением канцелярской речи за пределы официально-делового стиля и идеологией советского государства.

В современной русской речи выделяются следующие формальные особенности канцелярита: номинализация, т. е. замена глагола отглагольными существительными, причастиями, составными глагольно-именными сочетаниями (*сбитие самолета, снятие блокады и нормализация обстановки, пронос ручной клади, удешевление стоимости кредита*); многословность, или замена простых оборотов и слов канцелярскими (*лица неопределенного назначения, занимаются трудовой деятельно-*

стью); лексические штампы (*слуги народа, взять ситуацию под контроль, борьба за кресла, стремительные темпы, передовые позиции*), при этом иногда в современной русской речи используются лексические штампы, «позаимствованные» из советского времени (*линия партии, битва за урожай*), очень часто используются словосочетания со словом *проблема* (*проблемы с отоплением, проблема семьи, материальные проблемы россиян, проблемы пенсионеров, проблема «коммуналки*); отыменные предлоги (*в ходе наших встреч с избирателями; ввиду того, что Москва и область...; в силу своего возраста; в отсутствие дефицита; допрашивали на предмет дач и доходов*) и др. [Васильев 2003; Земская 2000; Быков, Купина 2006; Романенко 2000].

В исследованиях, посвященных судьбам литературных языков в тоталитарных обществах, отмечается гипертрофированная роль официально-делового стиля, документа за счет всех остальных типов словесности. «Документ, – пишет А. П. Романенко, – и стал нормирующим видом речи в советской словесности. Это поддерживалось тем, что в основе всей речевой деятельности и организации советского общества лежали партийные документы. Поэтому функционирование советской словесности осуществлялось почти по правилам документооборота. Почти – потому что полностью стать канцелярской словесности не давал компонент ораторики, принципиально предусмотренный демократическим централизмом. Речевое произведение в любой публичной сфере общения – научной, художественной, школьной, не говоря уже о делопроизводстве и массовой информации, могло выйти к читателю, т. е. начать функционировать, лишь после строго определенного документооборота, получив необходимые для этого реквизиты – резолюции, визы, согласования, подписи, печати и т. п.» [Романенко 2000: 5–6]

Детальную лингвистическую и историко-культурную характеристику «советского языка», ставшего своеобразным преломлением марксистской революционной идеологии и революционной практики двух этапов – (условно) «ленинского» 1920-х годов и «сталинского» 1930-х, – дает А. П. Романенко в докторской диссертации, посвященной советской речевой культуре [Романенко 2000].

В исследовании А. П. Романенко отмечается, что всевластие документа в советской словесности было естественным продолжением доктрины *партийности*, которая была ключевым оценочным ориентиром в советской официальной культуре. Ключевыми при определении партийности, по мнению А. П. Романенко, являются четыре качества: 1) партийность коммуникативна и риторична (проявляется в поучительной, регулирующей словесности), 2) оценочна, 3) безлична и 4) ее главное требование – соответствие документу: «Партий-

ность – это модальность речи и речевого поведения, жестко заданная партийным документом и исключая поэтому любую другую модальность (в соответствии со стилистикой документа, основанной на принципе однозначности истолкования содержания текста)» [Романенко 2000: 40].

А. П. Романенко отмечает, что в наибольшей степени повлияла на собственно лингвистическую сторону советской коммуникации/словесности такая составляющая партийности, как *оценочность*: «Оценочность – универсальное свойство языковой, в частности лексико-семантической системы. Однако для советской логосферы характерна оценочность, во-первых, гипертрофированная (т. е. охватывавшая все знаковое пространство), во-вторых, упрощенная (т. е. сводившаяся к строгой поляризации этого пространства). Эти свойства советской оценочности особенно значимы (и заметны) в обозначении человека» [Романенко 2000: 74].

Такая оценочность напрямую производна от идеологии тоталитарной власти. Еще Оруэллом подчеркивалась идеологичность новояза, к наиболее ярким проявлениям которой писатель относил использование положительно-оценочных слов «обыкновенного» языка в названиях и описаниях бесчеловечно жестоких институтов новой власти (*мир* – по отношению к министерству, которое вело непрекращающиеся войны, *любовь* – к министерству, которое практиковало пытки). Это же было характерно для советского новояза; ср. лексический ряд оценочных номинаций, определяемых, по мнению А. П. Романенко, оппозицией «враг ~ не враг» – а) выражение отношения к вождям и соратникам: *гениальный, великий, величайший, родной, любимый, отец, большевистский, твердый, железный, стальной, стойкий, негиббаемый, непоколебимый, верный, преданный, авангард, передовик, ударник, пионер* и др. и б) к врагам: *враг, классовый враг, враг народа, вредитель, злодей, убийца, изверг, предатель, изменник, палач, мерзавец, подлец, преступник, иуда-провокактор, сволочь, гнусный, выродец, вырожденец, ублюдок, недоносок, тварь, подонок, недобиток, прихвостень, отщепенец, подголосок, подкулачник, охвостье, отребье* и др. [Романенко 2000]. Эта же особенность официальной речи в тоталитарном обществе выявляется Е. В. Власовой на материале газет Третьего рейха, прежде всего «*Völkischer Beobachter*»; ср. а) выражение отношения к врагам: *Bluthund* ‘кровавая собака’, *schädliche Ungeziefer* ‘вредители-паразиты’, *die Judenpest* ‘еврейская чума’, *der verurteilte Schweinehund* ‘приговоренная еврейская свинская собака’, *...hat sich dieses Untermenschentum in Deutschland austoben dürfen...* ‘этим нелюдям было разрешено буйствовать в Германии’ – и б) к «своим»: *die braune Freiheitsgarde Adolf Hitlers* ‘коричневая гвардия свободы

Адольфа Гитлера’, *Hitler will handeln: Hitler wird handeln! Gebt ihm Macht dazu! Reißt am 5. März die Tore an, damit er, der Fahnenträger der Nation, unsere Standarte ins neue Reich hineinragen kann!* ‘Гитлер хочет действовать: Гитлер будет действовать! Дайте ему власть для этого! Откройте ворота 5 марта, чтобы он, знаменосец нации, смог внести наши стандарты в новый рейх!’ [Власова 2005].

О «новом русском революционном языке», который вполне сложился к концу 1920-х гг. на базе «обыкновенного» русского языка, говорили уже современники данного явления, среди которых были такие выдающиеся лингвисты, как А. М. Селищев, Е. Д. Поливанов, Г. О. Винокур.

Е. Д. Поливанов отмечал, что по громадным произошедшим изменениям, а главное – непонятности для аутсайдеров («старых русских») данное явление по всем традиционным лингвистическим параметрам правомерно было считать не социальным диалектом, а полноценным языком: «Можно выставить даже такую точку зрения, которая будет определять язык среднего обывателя 1913 г. и, с другой стороны, язык современного комсомольца – не как разных два диалекта, а как два разных языка, в том именно понимании терминов «диалект» и «язык», которое употребительно в лингвистике и основано на категории взаимной понимаемости (диалекты) или непонимаемости (языки)» [Поливанов 1968: 206]. Если бы «обывателю, “проспавшему” революционную эпоху и сохранившему языковое мышление 1913 г.», предъявить лексикон комсомольца 1928 г., то для него это были бы слова чужого языка [Там же].

Метафору Е. Д. Поливанова продолжает М. Чудакова: «Среди не проспавших, а напротив, прободрствовавших всю революционную эпоху, оказалось немало тех, для кого этот быстро родившийся язык оказался не просто чужим, а на долгие годы непонятным. А именно он стал единственно допустимым языком публичной речи; на осознании этого факта воздвиглась ... вся литературная работа Зощенко. Когда этому языку обучились все оставшиеся в живых к началу 1950-х годов граждане, возникло явление, эвфемистически названное канцеляритом» [Чудакова 1998: 75].

Естественно, всеми признавалось, что основными отличительными чертами нового языка были **упрощение** («Советская риторика, – пишет А. П. Романенко, – это риторика популяризации, упрощения, растолковывания, разъяснения и внушения» [Романенко 2000: 91–92]) и **канцеляризация**. А. М. Селищев указывал на основные их источники, а также функции: «Кроме книжных элементов в речи коммунистических и советских деятелей представлено много элементов языка канцелярского с его архаизмами. Обстоятельства внедрения в современную речь этих элементов были такие. 1) Воздействие всевозможных многочисленных

канцелярий. В первые годы утверждения советской власти канцеляриям принадлежало огромное значение в деле учета и распределения всех ресурсов страны, в деле регулирования всей деятельности ее обитателей. 2) Влияние многочисленных деятелей прежних канцелярий, занявших руководящие должности в стране. 3) Стремление к выражению эмоционального содержания, некоторой повышенности настроения или к выражению иронии» [Селищев 1928: 59].

Как видим, основное внимание исследователей того времени уделялось **лексике**. Могло показаться, что «новый язык» был чисто лексическим явлением. Конечно, думать так было бы неверно. Еще раньше, чем лексическую, изменения охватили **стилистическую** систему русского языка и привели к полной ее перестройке [Винокур 1968: 10; Шмелев 1977: 99].

Описывая развитие стиля советской публицистики, О. Б. Сиротина обратила внимание на то, что власть занималась «приспособлением» литературного языка к массовому потребителю: «Синтаксическая сложность международных обзоров, обилие в них иностранной лексики, несомненно, затрудняли понимание текста многими слоями населения, только начинающего приобщаться к культуре, мешали пропаганде политических знаний, политическому воспитанию масс. Не случайно именно в эти годы появляется специальное постановление Оргбюро ЦК РКП(б) от 1 декабря 1924 г., в котором говорится: "Необходимо языку газеты сделать вполне доступным массовому читателю, всячески избегая непонятных и отвлеченных оборотов и словообразований. Особенно следует обратить внимание на обработку иностранной информации, делая ее понятной каждому мало-мальски грамотному крестьянину"» [Сиротина 1968: 108].

«Канцеляризация языка – это не просто влияние официально-делового стиля на другие, это – перестройка всей функционально-стилистической системы языка», – пишет А. П. Романенко [Романенко 2000: 159]. В. В. Колесов в качестве «самой большой беды» русского языка XX века называет утрату высокого стиля [Колесов 1999], что, безусловно, помогло канцеляризации. В результате в центре системы функциональных стилей оказывается *стиль нейтральный*. «30-е годы – господство нейтрального стиля во всех областях речевой деятельности» [Сиротина 1968: 122]. «Элементы деловой речи, характерной чертой которых является отсутствие эмоциональной экспрессии, как нельзя лучше способствовали победе нейтрального стиля: из-за повсеместной употребительности они частично утратили специфически канцелярский колорит и легко сблизилась с нейтрально-литературной речевой стихией» [Логинова 1968: 212].

Пытаясь обосновать оправданность и даже прогрессивность данного явления, Г. О. Вино-

кур писал: «Эта *средняя линия* употребления письменного языка, с одной стороны, удерживающая язык на высоком уровне современной культуры, а с другой – не допускающая отрыва его от народной почвы, и есть руководящая линия языковой политики советской власти. Эта линия отражена и в языке тех документов исторического значения, которыми Сталин вдохновляет народы Советского Союза на защиту родины против фашистских насильников» [Винокур 1945: 175].

На уровне лексической семантики упрощение проявлялось прежде всего в **десемантизации**. В. В. Виноградов в работе о языке Зощенко отметил факты разрушения семантики слов: «...клише книжной речи ломаются в своей семантике, попадая в несвойственный им контекст. Чаще всего происходит разрушение тех семантических соотношений, которые существуют в системе литературной книжной лексики и фразеологии, – путем их внелитературных сцеплений или путем морфологического преобразования» [Виноградов 1928: 66].

М. А. Кронгауз связал десемантизацию с ритуализацией речи: «...слова ритуального языка часто теряют не весь смысл, но часть его, как правило, сохраняя или даже приобретая оценочное значение (со знаком плюс или минус). Отсюда – длинные ряды синонимов или квазисинонимов, не являющихся таковыми в обыденном языке. ... Десемантизация приводит к тому, что на ритуальном языке можно говорить лишь о самых общих и простых вещах» [Кронгауз 1994: 240]. «Подобную же десемантизацию, – пишет А. П. Романенко, – можно наблюдать у слов *бюрократизм, формализм, оппортунизм, пошлость, путать (путаник)* и т. п. Эти слова применялись к разнообразнейшим денотатам ... Логика объединения словом ряда реалий была не сигнификативная, а ритуализованная денотативная (значение «не наши»)). М. А. Рыбникова так объясняла законность этого явления: «Пусть кому-то кажется, что словом *сигнализировать* заменили ряд отличных, живых глаголов *показывать, обрисовывать, сообщать, предупредить, свидетельствовать, дать знать*, – советская газета все-таки будет стоять за *сигнализировать, включиться* и *держатъ связь*, потому что дело не в сохранении «превосходных русских слов», а в выборе того слова, которое политически более актуально, которое имеет свой особый привкус, которое борется с языком досоветским» [Рыбникова 1937: 113; цит. по: Романенко 2000: 173–174]. «Кроме этого, – добавляет А. П. Романенко, – десемантизация – это упрощение семантики, сведение сложной сигнификативной структуры к бинарной. ... Упрощение семантики идет путем культивирования ритуальной мотивированной связи денотата и знака при игнорировании сигнификативной структуры. Система коммуникации становится проще и действеннее.

На текстовом уровне в «новом языке» заметная роль принадлежала новым **прецедентным** текстам: «Изменения в системе прецедентных текстов связаны с ее переориентацией, во-первых, на документные жанры речи, а во-вторых, на новый риторический идеал – Сталина, чье амплуа ратора связано не столько с речами, сколько с документами» [Романенко 2000: 160].

Главным же, конечно, была смена **картины мира**, на что уже в 1960-е годы указывал Чуковский: «Подлинная жизнь со всеми ее красками, тревогами, запахами, бурлившая вдали от канцелярий, <в бюрократической речи> не отражалась никак. Уводя нашу мысль от реальностей жизни, затуманивая ее мутными фразами, этот жаргон был по самому своему существу – аморален. Жульнический, бесчестный жаргон. Потому что вся его лексика, весь его синтаксический строй представляли собою, так сказать, дымовую завесу, отлично приспособленную для сокрытия истины. ... Потому-то мы с таким недоверием относимся к штампованным фразам: их так часто порождает стремление увильнуть от действительных фактов, дать искаженное представление о них» [Чуковский 1990: 585].

С точки зрения общей картины мира, которую новый язык предлагал обывателю, важно, что «новый язык» (как, впрочем, языковой стандарт вообще) был малопонятен массам, но и привлекателен – как язык власти [Романенко 2000: 149]; ср.: «Распространилось благоговейно-почтительное отношение к печатному тексту (особенно – официальному). Грамотность для многих была внове и ценилась невероятно высоко» [Панов 1990: 87].

Таким образом, советские лингвисты конца двадцатых годов – Е. Д. Поливанов, А. М. Селищев, Г. О. Винокур – определяли «советский язык» как решительно новое явление, не имеющее практически ничего общего с русским языком дореволюционного периода, при этом оценивали его в целом положительно – как прогрессивный язык, соответствующий прогрессивному обществу. К. И. Чуковский в начале 1960-х годов, говоря фактически о том же самом явлении, которое он назвал *канцеляритом*, оценивает его крайне отрицательно, но при этом не выводит его из особенностей советского общества, советской власти, которую он так же, как названные лингвисты двадцатых годов, считает прогрессивной, а связывает исключительно с «пережитками» дореволюционной действительности – прежде всего царской бюрократии.

В работах лингвистов и философов последних перестроечных и постперестроечных, 1990-х гг. язык советской власти (*канцелярит*) прямо связывается с тоталитарным обществом, при этом ставится знак равенства между *канцеляритом* и *новоязом* Дж. Оруэлла, а также германским, японским «новоязом» 1930-х го-

дов. В этом отношении у советского варианта тоталитарного «новояза» не пытаются обнаружить какие-либо национальные особенности, например национально-культурные, национально-коммуникативные, национально-языковые истоки канцелярита и канцеляритоподобных явлений в русском языке.

Мы не можем до конца принять ни одну из этих точек зрения.

По нашему мнению, основные особенности языка советской власти (*канцелярита*) происходили из характера власти в тоталитарном обществе, особенностей отношений тоталитарной власти и народа. Подобные изменения языка в тоталитарном обществе можно считать языковой универсалией, и в этом отношении советский вариант тоталитарного языка действительно имеет много общего и с *новоязом* по Дж. Оруэллу, и с германским, японским «новоязом», и т. п.

Однако с точки зрения лингвистического облика *канцелярита* важно учитывать, что он сложился на базе русского языка, русской культуры и русской системы коммуникации (в том числе системы речевых жанров) с присущими им базовыми содержательными категориями, сценариями и ценностями.

В этом отношении можно вспомнить идеи М. М. Бахтина, который утверждал, что языковой системности предшествует системность речевая, речежанровая: «Ни одно новое явление (фонетическое, лексическое, грамматическое) не может войти в систему языка, не совершив долгого и сложного пути жанровостилистического испытания и отработки» [Бахтин 1996: 165].

Понятно, что и канцелярит, и все канцеляритоподобные явления закрепляются в языке только после тысяч и сотен тысяч употреблений в речи, стандартных коммуникативных ситуаций (очень яркие примеры таких ситуаций, когда новый стиль/язык еще только начинал формироваться, находим в произведениях А. Платонова, М. Зощенко, И. Бабеля 1920–1930-х гг.). Именно в области речи, коммуникации сначала складываются отношения, связи и стереотипы речежанрового типа, причем они накладываются на существующую очень сложную систему жанров, где и старые, традиционные, и новые, формирующиеся жанры в высшей степени национально обусловлены, пронизаны ценностными отношениями, существующими в культуре.

Анализа данного явления с точки зрения того, как сложился «новый язык» на существующую систему *русских* национальных коммуникативно-речевых и языковых единиц, норм, содержательных категорий, на наш взгляд, недостает большинству названных исследований, в том числе, к сожалению, диссертации А. П. Романенко (им анализируются лишь некоторые историко-литературные тенденции XIX века).

3. Шкала [P] ~ [-P] в речи российских политиков

Наш разговор о своеобразии современной русской речи с точки зрения базовых коммуникативных ценностей, в частности шкалы/оппозиции [P] ~ [-P], был бы неполон без краткого анализа картины русской политической коммуникации, для которой данная шкала является очень актуальной.

Сама политическая коммуникация (в том виде и смысле, который подразумевают под этим термином на Западе) в России еще находится в процессе становления. Даже за то короткое время, когда политическая коммуникация начала складываться, она пережила ряд характерных периодов (по-видимому, три: конец 1980-х гг., 1990-е, 2000-е гг.). Природа политического дискурса состоит в быстрой изменчивости, поэтому, например, трудно выделять «политические ключевые слова текущего момента» – они меняются вместе с появлением новых актуальных проблем, обсуждаемых политиками. Это показывают эксперименты с современными 17-летними московскими студентами середины 2000-х гг., которым непонятны многие ключевые термины «перестроечной» политики [Басовская 2005].

Соответственно, изучение политической коммуникации в России началось недавно: до последних лет существования СССР данная тема была фактически под запретом. В то же время данное направление исследований в России развивается исключительно активно, говорят даже о возникновении *политической лингвистики*, которая объединяет очень разные теоретические принципы и положения, методику, терминологию, материал (лексика политических речей, включая метафоры, текст и его типы/жанры, стратегии и тактики, функции речи и т. д.; это многообразие отразилось в выходящем в Екатеринбурге журнале «Политическая лингвистика» под ред. А. П. Чудинова).

Среди работ этого типа выделяются, с одной стороны, фундаментальные, посвященные универсальным, наднациональным особенностям политической коммуникации, например [Шейгал 2004; Будаев, Чудинов 2008], с другой – такие, в которых анализируется именно *русская* политическая коммуникация с точки зрения ее уникальных национально-специфических особенностей, часто в связи с общим состоянием современной русской речи [Базылев 2005; Баранов, Караулов 1994; Дука 1998; Лассан 1995; Чудинов 2001].

При этом в «политической лингвистике» остаются неизменными и в целом общепринятыми определением политической коммуникации/политического дискурса и их доминанты: политический дискурс является публичным институциональным дискурсом; главная его функция состоит в эмоциональном воздействии, поэтому он наиболее близок к публицистическому дискурсу; главные «действующие лица» поли-

тического дискурса – политики, чьи цели определяются категорией **власти** (приход к власти/удержание власти), и для этой цели они используют язык, речь, дискурс.

В этом смысле главной содержательной категорией, обуславливающей и достижение этой цели, и вполне объективные трудности, с которыми сталкивается политик на своем пути, выступает оппозиция **«народ ~ власть»**, которая реализуется в любом политическом дискурсе, на любом языке, в рамках любой культуры, где существует само понятие *политики* и *власти*.

В целом, в центре внимания оказывается «язык власти», или язык общения власти и народа с его формальными и содержательными особенностями. Данному явлению посвящено целое направление современной западной социолингвистики и политической лингвистики (см. обзор: [Будаев, Чудинов 2008]). Использование властью для «общения с народом» официального стиля, шире – дискурса, несомненно, универсалия: доминантой официального стиля является регулирование социальных отношений, позиций и ролей [Функциональные стили и формы речи 1993], а следовательно, это удобный инструмент для осуществления власти.

Как уже было сказано, во многих работах исследуется особая, «крайняя» разновидность языка власти – содержательно и формально редуцированный язык («новояз»), использование которого оказывается эффективно для управления состояниями коллективного адресата. «Новоязные явления» в германском и японском тоталитаризме описаны в работах [Клемперер 1998; Власова 2005; Такахаси 2000].

В этом отношении для нас важно, что для названной цели политического дискурса – приход к власти/удержание власти – используются средства и категории русского языка, в частности оценочная оппозиция [P] ~ [-P].

Эти особенности русского языка и коммуникации делают принципиально невозможным механическое перенесение теории и методологии западной политлингвистики на российскую почву. «Западноевропейские и американские “лингвистические приемы”, – пишет В. Н. Базылев, – не позволяют решить онтогностические, футуро- и ретрогностические задачи экспликации и реконструкции феномена политического дискурса и в СССР, и в России. ... Подход западных лингвистов к политическому дискурсу в России оказался прожективным, ориентированным на зону ближайшего развития, хотя не менее важен и возможен подход интерпретирующий, ориентированный на сохранение существующих ценностей» [Базылев 2005: 6].

В исследованиях по русскому политическому дискурсу множатся примеры (часто прокомментированные с точки зрения, очень близкой нашей), когда политик-практик сознательно (сам или по подсказке имиджмейкеров) либо

бессознательно обращается к оппозиции [P] ~ [-P] в русском языке и речи. Подобные мыслительные операции проделывают в своей интерпретации и пассивные участники «периферии» политического дискурса, то есть зрители – тоже носители русского языка и оппозиции [P] ~ [-P].

Ряд исследований был посвящен такому распространенному явлению в речи русских политиков, как претензии на *задушевность* либо *общественность* в общении с народом (суть одна – доказать, что «я свой») [Жельвис 1999; Ряпосова 2001; Виноградов 1993; Дмитриева 1994]. Данные явления мы могли бы определить как **педалирование левого члена оппозиции [P] ~ [-P]**.

Данный процесс представляет собой универсальное и очень распространенное явление: это широко изученное в исследованиях по публицистическому стилю и дискурсу обращение к «эмоциональным аргументам». Разница состоит только в том, что обращение (в публицистическом стиле) к эмоциональным аргументам по своей природе есть вид *манипуляции*, который требуется скрывать, – в русской же политической коммуникации, в силу действия оппозиции [P] ~ [-P] и положительной оценки ее левого члена, такого рода эмоциональные аргументы с непрямо, но достаточно явно декларируемым недоверием к уму и сознательным рациональным действиям человека провозглашают прямо, открыто и чуть ли не с гордостью, имея в виду самоопределение и национальную самобытность. Ср. призывы *голосовать сердцем* или определение *вменяемая власть* в качестве положительной характеристики. В русском политическом дискурсе выражение *голосуй сердцем*, являющееся этимологической калькой с английского *vote with your heart*, используется как прямой и вполне серьезный лозунг, тогда как в англо-американском оригинале – как отрицательно-оценочная или ироническая номинация явно бессмысленных или нечестных действий кандидатов и агитаторов на выборах, фактически во всех контекстах есть противопоставление *vote with your head ~ vote with your heart* (в частности: *How to vote with your head and not your heart*) или: *Vote with your heart, bet with your head*.

Показательно, что в западной, прежде всего англо-американской прессе и социологических исследованиях, подобные лозунги, оценки и призывы, в корне противоречащие «западной логике», называются... русскими! например: *Russian Tender: Vote with Your Heart! Contractor selection is a delicate matter for any developer. The clear criteria of sorting out the winners adopted in the West are not always applicable. The participants of the seminar Tender & Development: How Not to Make a Mistake in Contractor Selection organized by Commercial Real Estate North-West tried to understand why the Russian customer oftentimes neglects the*

obvious advantages of one claimant, listening to his "heart" rather than mind.

Что же касается истории выражения *вменяемая власть/администрация/политики*, она просто комична: в сущности, данное выражение должно было обозначать власть «хорошую», обращенную к народу (ср. популярные в позднесоветский период определения «...с человеческим лицом») – это была всего лишь очередная в долгой официальной истории попытка примирить народ и власть. Однако данное выражение немедленно превращается в штамп, причем присущий не языку народа, а именно языку власти, и, с одной стороны, воспринимается с недоверием, как и все политические штампы, с другой стороны, ни те, кто использует данный штамп, ни его адресаты обычно не задумываются о его внутренней форме, несущей чрезвычайно уничижительное представление о власти вообще и о данной власти в частности. Ср.: «Так можно расценить слово *вменяемый* в сочетании *вменяемый политик*. Такое употребление характерно для либералов круга СПС. Оно возникло во время становления этих сил из числа «неформалов» в 1989–91 годах, когда представители руководства разных уровней, идущие на сотрудничество с этими силами, признавались «вменяемыми», т.е. психически нормальными, а остальные не признавались» [Борисова 2006: 26–35].

Естественно, такие призывы власти – как будто бы адресованные народу, с учетом «точек зрения» народа и на языке народа, но в действительности сразу превратившиеся в штампы, принадлежащие именно языку власти, а не народа, – изначально воспринимаются с недоверием, более того – сами автоматически включаются в поле официальности/имперсональности, то есть в «правый» член оппозиции [P] ~ [-P].

Своеобразным отличием русской политической коммуникации стало то, что к началу распространения в России «настоящей» политической коммуникации в западном, демократическом значении само явление – политическая коммуникация, профессиональные политики, борющиеся за власть – воспринимались как новое явление, при этом оценивались положительно, как своеобразный символ перехода к новым, нормальным отношениям, «общечеловеческим ценностям». Кроме того, время становления российского политического дискурса совпало с очень тяжелым периодом для России и национального самосознания – в этом отношении общая для всех политиков тенденция оперировать общечеловеческими и национальными ценностями усиливается у российских политиков названного периода: в это время призывы *возрождать / укреплять национальные ценности* становятся особенно популярны (и многие люди сделали себе на этой риторике неплохой политический капитал).

«Новые политики» спешили позициониро-

вать свои отличия от предшественников – настоящих, «тоталитарных», заидеологизированных, а следовательно, не только непрофессиональных, но и нечестных, враждебных народу деятелей. Соответственно «новые политики» должны были выглядеть в глазах народа не только более профессиональными, лучше ориентирующимися в институтах власти западного, демократического типа (это было очевидно), но более близкими народу, понимающими его, разделяющими его интересы. Естественно, создание такого образа в глазах избирателей является чрезвычайно желанным для любого политика, независимо от национальности и конкретной политической программы, однако в России названного периода для достижения данной цели политики часто привлекали коммуникативные средства, не присущие или редко присущие западному политическому дискурсу (мы имеем в виду прежде всего оппозицию [P] ~ [-P], точнее, педалирование ее левого члена.

Данные явления сочетаются в современном российском политическом дискурсе с *канцелярноподобными* явлениями, частично доставшимися российским политикам по наследству от их советских предшественников, частично – благоприобретенными. Все это создает весьма своеобразный облик современного российского политического дискурса, на что не раз обращали внимание исследователи: «Слагаемые этого дискурса (политического. – В. Д.) разнородны: канцелярит и мат, анекдот и политический скандал, слухи и лозунги, частушки и пр.» [Базылев 2005: 5]; «Использование жаргонной и просторечной лексики при описании российской политической и деловой элиты, как и сообщение о ее совместной с бандитами деятельности, упоминание о «*крышующих*» преступников чекистах служит средством смыслового сближения официальной и теневой элиты. Обозначение современной политической элиты советской идеологией *партийно-хозяйственный актив* позволяет подчеркнуть сходство между руководителями разных поколений» [Чудинов 2003: 27–34].

Показательно, как стала меняться речь, поведение политиков уже «в новых условиях», а также их восприятие народом. Политики, с одной стороны, продолжают использовать *задушевную/обсценную речь* и модели поведения (вплоть до публичного рукоприкладства в парламенте), с другой – массово и как будто бы вполне закономерно переходят на *канцелярит* и *канцелярноподобные явления*, уже не боясь показаться похожими на своих тоталитарных предшественников.

Данную группу явлений можно определить как **педалирование правого члена оппозиции [P] ~ [-P]**. К этому типу явлений (противоположному педалированию *задушевному*) следует отнести, например, подчеркнуто книжный, наукообразный язык представителей правых пар-

тий (СПС, Яблоко): «Стал притчей во языцех нарочито книжный, преимущественно научный язык либералов “первой волны” (“завлабов”)» [Борисова 2006: 26].

В этом отношении особенно показательны характеристики дискурса *«партии власти»*, которые выделяет Е. Г. Борисова [Борисова 1998; 2006], сравнивая данный дискурс с тремя оппозиционными группами (группы выделяются Е. Г. Борисовой с точки зрения собственно политической программы представителей тех или иных партий, которые ориентируются на разную аудиторию, соответственно используют разные средства воздействия, в том числе ценностного характера). Именно для дискурса «партии власти» характерно обилие **штампов**, присущих языку их предшественников – политиков советской эпохи. В современной России выделяют либеральный (демократический, западный) тип, «патриотический» (национально-клерикальный), левый (коммунистический, социальный), а также «язык власти». Либеральный дискурс связан с право-либеральными силами (демократы) и во многом стремится к копированию западных традиций с их претензией на сдержанность и объективность. Он ориентируется на современного образованного человека, изобилует заимствованиями, особенно в политологических и экономических сферах. Текст может быть довольно **сложен** с точки зрения синтаксиса, почти всегда высоко **книжный**, содержащий выводы и умозаключения, нередко иронию. Исключение, и весьма разительное, составляет политическая реклама, часто нарочито упрощенная («Хочешь жить как в Европе? Голосуй за СПС»), что связано с очевидным делением адресатов на «своих» и «быдло».

«Патриоты» представлены немногочисленными партиями («Народная воля», «За Русь святую!» и др., в последнее время «раскручиваемая» «Родина»), но их влияние высоко в интеллектуальных сферах. Их язык отличается **книжностью**, но западные заимствования достаточно редки, а преобладают **греческие** – **церковные** и **философские** термины. Тексты – и устные, и письменные – могут быть весьма экспрессивными, точнее, страстными.

По заявляемым идеологемам к этим силам принадлежат ЛДПР и до какой-то степени КПРФ. Однако язык текстов и устных выступлений ЛДПР заметно **упрощен**, словарный запас приближается к бытовому. Что касается КПРФ, то формально она относится к левой части политического спектра, хотя в ее текстах, даже в произведениях одного человека – лидера партии Г. А. Зюганова – найти можно все. Эти два случая выпадения из традиционного деления объясняются по-разному. Если тексты ЛДПР носят преимущественно популистский характер, т.е. направлены на «овладение электоратом» и потому преднамеренно упрощены, то КПРФ действительно отражает сдвиги в политическом спектре, которые вызваны изменением эпохи и

созданием новых граней размежевания сил и интересов.

Левый дискурс, с одной стороны, унаследовал особенности **революционной** литературы начала двадцатого века. Это страстность, совмещаемая с научностью (в части обращения к марксистским идеям), терминология **марксизма**: *классовая борьба, диктатура пролетариата, социал-предательство* и т. п. С другой стороны, в тексты большей части коммунистов обильно входят **штампы советской эпохи**.

Особняком стоят тексты властей – как официальные документы и речи руководства, так и документы и тексты «партии власти». В 90-ые годы дискурс власти довольно долго был **праволиберальным**, однако отмеченная нами выше тенденция проявлялась в речах Ю. М. Лужкова уже тогда. В основном, такому типу текстов свойственен официально-деловой стиль с неизменными штампами, среди которых нет идеологических стереотипов советской эпохи, однако остальные особенности сохранились с той поры. Отметить манифестативные слова, т. е. свойственные только для данного дискурса, практически не удастся. Однако собственные штампы, употребления слов с особым значением имеются – *деловой, хозяйственник, прагматик*. Такой подбор лексики определяет ведущей идеологемой партии власти: «Не болтаем о политике, а делаем полезное дело».

Как видим, правый член оппозиции [P] ~ [-P] по-прежнему здравствует в речи политиков, при этом наиболее очевидными проявлениями его «неперсональной» семантики, как и раньше, остаются официальные штампы.

Интересно, что во многом это прежние штампы советского языка, от которых, казалось бы, должна была полностью освободиться новая российская политическая риторика, но которые оказались удобными для специфических целей дискурса власти, и к ним вернулись. Этим «старым новым» канцеляриноподобным/новоязоподобным явлениям в русской речи новейшего периода уже был посвящен ряд исследований, например, М. А. Кормилицыной, которая рассматривает их как «постновояз» с точки зрения их синтаксических характеристик (на примере современной прессы): широкая употребительность безагентивных предложений (*Судя по всему, придется несколько «затянуть пояс».*); предложения с пассивными конструкциями, в которых позицию активного субъекта занимают словоформы с объектным значением (*В подготовленном при участии губернаторов, правительства и Администрации Президента докладе отмечалось, что инвестиционный пост распределен между субъектами РФ крайне «неравномерно» – деньги вкладываются все больше в сырьевые регионы*) [Кормилицына 2009: 39-40].

Целая серия исследований посвящена таким явлениям (прежде всего в политическом, а также публицистическом дискурсе), которые в

новых работах именуется *советизмами* или *идеологемами* [Земская 2000; Купина 1995, 2009; Чудинов 2007; Гусейнов 2004; Малышева 2009]. В работах новейшего времени отмечается, в частности, что вернулась не только лексика, но и многие организационные, административные моменты, присущие предшествующей эпохе: «Распространение получает открытое институциональное калькирование советских образцов. Например, возрождается молодежная организация, структурированная по типу ВЛКСМ: *С инициативой создания ячейки Российского союза молодежи выступила городская молодежная Дума. Идею поддержали ветераны комсомола и управление образования, а также комитет по делам молодежи. На слете молодежных организаций, созванном в честь такого события, первым пятнадцати юношам и девушкам, вступившим в ряды РСМ, в торжественной обстановке были вручены членские билеты ... Под бурные аплодисменты виновникам торжества преподнесли бокалы молочного коктейля – традиция новых комсомольцев* (Областная газета, Екатеринбург, 5 мая 2009).

В печати наших дней употребляются информационные стандарты, а также эмоционально-экспрессивные и оценочные средства, характеризующие советскую стилистическую манеру. Например, в газетах Среднего Урала и Зауралья регулярно используются сочетания со словами группы «труд», имеющие традиционно советский характер. Обращает на себя внимание набор стандартных атрибутивных сопроводителей к базовой номинации **труд** (*честный, бескорыстный, самоотверженный, благородный, ударный*), клишированные сочетания *трудо-вой коллектив, трудовые традиции, трудовые навыки, трудовой подвиг, трудовые достижения, трудящиеся района, трудящиеся Урала*.

Безальтернативная оценочность, стандартные метафоры снова определяют направление стилистического эффекта газетного текста. Приведем два извлечения из «Областной газеты» (Екатеринбург): *На днях депутаты Государственной Думы наконец приняли законопроект, который, по словам вице-спикера Надежды Герасимовой, позволит оградить подрастающее поколение от «тлетворного влияния увеселительных ночных заведений».* Ср.: *Средний Урал и впредь будет в авангарде этого процесса, будет оставаться одним из экономических лидеров страны. В предстоящий период мы должны еще более усилить его лидирующую роль, что особенно важно в связи с предстоящим знаковым событием – 70-летием Свердловской области* [Купина 2009: 35–41].

С другой стороны, среди штампов, множатся в речах политиков, немало новых, не имеющих ничего общего ни со старыми реалиями, ни со старыми номинациями. В то же время важно, что в собственно лингвистиче-

ском, семантическом отношении их значение (прежде всего, отношение к «обыкновенным» словам), как и у штампов прошлых лет, соответствует содержанию правого члена оппозиции [P] ~ [-P].

Это показывают исследования наиболее частотных слов и выражений (ключевых слов/концептов) в речи явного лидера новой «партии власти» В. В. Путина, например слов *цель, задача, приоритет* [Гаврилова 2004: 20–35]. Особенно показательна роль последнего слова, в семантике которого отмечаются подчеркнутая книжность, а также то, что оно «связано с волевым началом и интеллектуальной сферой человеческой деятельности» [Там же].

Очень интересны данные о том, как трансформируется содержание многих традиционных слов русского языка, в том числе таких ключевых слов/концептов, имеющих отношение к оппозиции [P] ~ [-P], как *правда, душа, справедливость*, в современном русском политическом дискурсе. Это показано, например, в исследовании [Гаврилова 2006], посвященном концепту *справедливость* в современном русском политическом дискурсе разных типов, выделяемых в соответствии с конкретным политическим направлением и целями: «В русском политическом дискурсе начала XXI века «справедливость» сближается преимущественно с «равенством», понимаемым партиями левого крыла (КПРФ, «Родина») прежде всего как уравнительное распределение материальных благ, однако наряду с этим пониманием в программах других партий (ЛДПР, «Яблоко», «Единая Россия») в концепте «справедливость» актуализируется значение 'равенство возможностей' для граждан страны. Мы наблюдаем борьбу между двумя векторами справедливости, между уравнительностью и соревновательностью, а также стремление изменить соотношение между ними» [Гаврилова 2006: 77–87].

Интересны и поучительны в этом отношении мнения многих политиков, журналистов и исследователей, пытающихся выделить новый тип *национального лидера*, характеристики которого имеют отчетливое сходство с содержанием правого члена оппозиции [P] ~ [-P] – «герой-Штольц» (по имени персонажа романа И. А. Гончарова «Обломов»). Как известно, Штольц в романе противопоставлен Обломову, и его общая жизненная позиция и конкретное поведение воспринимаются читателем только через это противопоставление. Конечно, оппозиция «Обломов ~ Штольц» имеет выраженный характер [P] ~ [-P], и в этом отношении очень показательна «подстановка» в данную оппозицию современных фигур, таких как президенты Б. Н. Ельцин и В. В. Путин [Попова 2010: 135–143].

Итак, судьба оппозиции [P] ~ [-P] в русской политической речи с конца 1980-х гг. (а в чем-то и с более раннего периода) может быть охарак-

теризована как **динамика «новояза»/«канцелярита»**, то есть гипертрофированного использования официально-делового дискурса и стоящей за ним официально-деловой картины мира для достижения **целей**, соотносимых с политической коммуникацией и определяемых идеей регулирования отношений между народом и властью.

В новейшей российской истории были периоды (начало 1960-х, особенно – конец 1980-х), когда использование канцеляриподобных явлений для данных целей **не** способствовало их достижению. Явление воспринималось как одиозное, слишком очевидно связанное, с одной стороны, с осуждаемыми кровавыми периодами недавней истории, с другой – с коммуникативными механизмами лжи – насилия – манипуляции. (В немалой степени этому способствовало широкое обсуждение и осмеяние данного явления писателями – М. Зощенко, А. Платоновым, – которых много печатали и читали именно в это время, публицистами, лингвистами, даже вполне советскими по форме, как К. Чуковский.) Поэтому говорящие, прежде всего политики, старались дистанцироваться от данного явления (как и от стоящей за ним картины мира), позиционируя себя «совсем другими» (демократами, антикоммунистами, профессионалами, «простыми людьми», русскими, православными, антиглобалистами и т. д.).

Однако по-своему забавный (на самом деле закономерный) эффект от подобных лингвистических экспериментов политиков состоит в том, что в результате они чаще всего **возвращаются** к канцеляриподобным явлениям, обращаются к ним все чаще, поскольку данные явления, реализующие потенции правого члена оппозиции [P] ~ [-P], **удобны, эффективны** именно для целей, присущих политической коммуникации. Собственно говоря, история политической коммуникации в России с конца 1980-х гг. и есть история периодических отказов от канцеляриподобных явлений – и периодических же обращений, возвращений к ним.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. 1995. №1.
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М., 1999.
- Базылев В. Н. Политический дискурс в России // Известия УрГПУ. Лингвистика. Выпуск 15. – Екатеринбург, 2005.
- Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Словарь русских политических метафор. – М., 1994.
- Басовская Е. Н. Политическая терминология в языковом сознании семнадцатилетних // Известия УрГПУ. Лингвистика. Выпуск 16 / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. Чудинов А. П. – Екатеринбург, 2005.
- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1990.

Бахтин М. М. Проблема речевых жанров. Из архивных записей к работе «Проблема речевых жанров». Проблема текста // Собр. соч.: в 5 т. Т. 5: Работы 1940-х начала 1960-х годов. – М., 1996.

Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Духовный кризис интеллигенции. – М., 1998.

Борисова Е. Г. Особенности типов политического дискурса в России // Политический дискурс в России 2. Материалы рабочего совещания. – М., 1998.

Будаев А. В., Чудинов А. П. Когнитивно-дискурсивный анализ метафоры в политической коммуникации // Политическая лингвистика. 2008. № 3.

Булаховский Л. А. Исторический комментарий к русскому литературному языку. – М., 1975.

Быков Л. П., Купина Н. А. Лингвистический натурализм текстов массовой литературы как проблема ортологии // Проблемы языковой нормы. Тезисы докладов международной конференции «Седьмые Шмелевские чтения». – М., 2006.

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. – М., 2001.

Васильев А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления. – М., 2003.

Вежбицка А. Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языковой самообороны // Вопросы языкознания. 1993. № 4.

Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.

Вежбицкая А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Русский язык в научном освещении. № 2 (4). – М., 2002.

Виноградов В. В. Язык Зоценки (заметки о лексике) // Михаил Зоценко: Статьи и материалы. – М., 1928.

Виноградов С. И. Слово в парламентской речи и культура общения // Русская речь. 1993. № 2–4.

Винокур Г. О. Культура языка. – М., 1929.

Винокур Г. О. Русский язык. – М., 1945.

Винокур Т. Г. Об изучении функциональных стилей русского языка советской эпохи (к постановке вопроса) // Развитие функциональных стилей современного русского языка. – М., 1968.

Власова Е. В. Речевая агрессия в печатных СМИ (на материале немецко- и русскоязычных газет 30-х и 90-х гг. XX века): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Саратов, 2005.

Воркачев С. Г. Сопоставительная этносемантика телеономных концептов «любовь» и «счастье» (русско-английские параллели). – Волгоград, 2003.

Воробьев В. В. Лингвокультурология (теория и методы). – М., 1997.

Гавранек Б. Задачи литературного языка и его культура // Пражский лингвистический кружок. – М., 1967.

Гаврилова М. В. Тематический ряд слов *цель, задача, приоритет* в дискурсивном пространстве послания федеральному собранию // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. А. П. Чудинов. – Екатеринбург, 2004. Т. 13.

Гаврилова М. В. Концепт «справедливость» в

новейшем русском политическом дискурсе // Известия УрГПУ. Лингвистика. Выпуск 17 / Урал. гос. пед. ун-т; отв. ред. Чудинов А. П. – Екатеринбург, 2006.

Громько М. М. Отношение к богатству и предприимчивости русских крестьян 19 в. в свете традиционных религиозно-нравственных представлений и социальной практики // Этнографический обзор. 2000. № 2.

Гусейнов Г. Ч. Д. С. П. Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х. – М., 2004.

Дементьев В. В. Об одной оценочной системе в русском языке // Проблемы речевой коммуникации. – Саратов, 2007. Вып. 7.

Дементьев В. В. Теория речевых жанров. – М., 2010.

Дмитриева О. Л. Ярлык в парламентской речи // Культура парламентской речи. – М., 1994.

Дука А. В. Политический дискурс оппозиции в современной России // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1.

Емельянов Б. В. Русский менталитет: возможности толерантности // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности: коллективная моногр. – Екатеринбург, 2003.

Жельвис В. И. Инвектива в политической речи // Русский язык в контексте культуры. – Екатеринбург, 1999.

Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. – М., 2005.

Земская Е. А. Новояз, new speak? Nowotowa...Что дальше? // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). – М., 2000.

Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие системы. – М., 1965.

Катаева Н. М. Русский концепт *воля*: от словаря – к тексту: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2004.

Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха: Записная книжка филолога. – М., 1998.

Кожина М. Н. Стилистика русского языка. – М., 1993.

Колесов В. В. «Жизнь происходит от слова...». – СПб., 1999.

Кормилицына М. А. О некоторых синтаксических характеристиках «постновояза» на страницах современной прессы // Проблемы речевой коммуникации. – Саратов, 2009. Вып. 9.

Кронгауз М. А. Бессилие языка в эпоху зрелого социализма // Знак: сб. статей по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А. Н. Журина. – М., 1994.

Крысин Л. П. Социальная дифференциация системы современного русского национального языка // Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация. – М., 2003.

Кузьменкова Ю. Б. От традиций культуры к нормам речевого поведения британцев, американцев, россиян. – М., 2005.

Купина Н. А. Тоталитарный язык: Словарь и речевые реакции. – Екатеринбург – Пермь, 1995.

Купина Н. А. Советизмы: к определению поня-

тия // Политическая лингвистика / Гл. ред. А. П. Чудинов; ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2009. Вып. 2 (28).

Лассан Э. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ. – Вильнюс, 1995.

Логинова К. А. Деловая речь и ее стилистические изменения в советскую эпоху // Развитие функциональных стилей современного русского языка. – М., 1968.

Логический анализ языка: Языки этики. – М., 2000.

Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. – М., 1991.

Лотман М. Ю., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б. А. Избранные труды. – М., 1994. Т. 1.

Люциньский К. Языковые заимствования и ментальность: о влиянии заимствованных языковых средств на ментальность лингво-культурного коллектива (на материале русского языка в сопоставлении с польским). – Екатеринбург, 2010.

Мальшева Е. Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классификация // Политическая лингвистика / Гл. ред. А. П. Чудинов; ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т». – Екатеринбург, 2009. Вып. 4 (30).

Маслова В. А. Лингвокультурология. – М., 2001.

Орлова Н. В. Лингвистическое моделирование русской наивной этики: Дис. ... докт. филол. наук. – Омск, 2006.

Панов М. В. История русского литературного произношения XVIII-XX вв. – М., 1990.

Пеньковский А. Б. О семантической категории «чуждости» в русском языке // Проблемы структурной лингвистики, 1985–1987. – М., 1989.

Пеньковский А. Б. Радость и удовольствие в представлении русского языка // Логический анализ языка: Культурные концепты. – М., 1991.

Плунгян В. А., Рахилина Е. В. «С чисто русской аккуратностью...»: К вопросу об отражении некоторых стереотипов в языке // Московский лингвистический журнал. – М., 1996. Т. 2.

Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. – М., 1968.

Попова Н. П. В России появляются новые штольцы...: о мифологеме героя в современной публицистике // Политическая лингвистика / Гл. ред. А. П. Чудинов. – Екатеринбург, 2010. Вып. 1 (31).

Романенко А. П. Советская словесная культура: образ ратора. – Саратов, 2000.

Рыбникова М. А. Введение в стилистику. – М., 1937.

Ряпосова А. Б. Агрессивный прагматический потенциал криминальных метафор, функциони-

рующих в агитационно-политическом дискурсе периода федеральных выборов (1998–2000 гг.) // Лингвистика. Бюллетень Уральского лингвистического общества. – Екатеринбург, 2001. Т. 7.

Селищев А. М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). – М., 1928.

Сиротинина О. Б. [и др.] Некоторые жанрово-стилистические изменения советской публицистики // Развитие функциональных стилей современного русского языка. – М., 1968.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: Опыт исследования. – М., 1997.

Такахаси К. К типологии «тоталитарного языка»: сопоставительный анализ текстов сталинизма и японского фашизма // Вторая зимняя типологическая школа: Материалы международной школы-семинара молодых ученых по лингвистической типологии и антропологии. – М., 2000.

Уфимцева Н. В. Этнический характер, образ себя и языковое сознание русских // Языковое сознание: формирование и функционирование. – М., 1998.

Функциональные стили и формы речи / под ред. О. Б. Сиротининой. – Саратов, 1993.

Чудакова М. Заметки о поколениях в советской России // Новое литературное обозрение. 1998. № 30.

Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). – Екатеринбург, 2001.

Чудинов А. П. Интертекстуальность политического текста // Лингвистика. Бюллетень Уральского лингвистического общества [отв. ред. А. П. Чудинов]. – Екатеринбург, 2003. Т. 10.

Чудинов А. П. Политическая лингвистика. – М., 2007.

Чуковский К. И. Живой как жизнь // Собр. соч. в 2 т. – М., 1990. Т. 1.

Шалина И. В. Уральское городское просторечие как лингвокультурный феномен: Дис. ... докт. филол. наук. – Екатеринбург, 2010.

Шатуновский И. Б. «Правда», «истина», «искренность», «правильность» и «ложь» как показатели соответствия/несоответствия содержания предложения мысли и действительности // Логический анализ языка: Культурные концепты. – М., 1991.

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. – М., 2004.

Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. – М., 1977.

Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира. – М., 2002.

Bergmann J. R. Introduction: Morality in discourse // Research on language and social interaction. – Lawrence Erlbaum Association, 1998. Vol. 31.

© Дементьев В. В., 2010